

**ОЛЕГ ОБЕРЕМКО,**

*кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии РАН, доцент кафедры социальной психологии и социологии управления Кубанского государственного университета, Краснодар*

## **Популярность социально-структурной идентификации: ресурс или компенсация?**

*Abstract*

*According to the data of comparative research conducted in Russia and Poland, the Russians manifested on average a stable identification with more number of social communities than Poles. Using the material of 2002, the author of this article discusses alternative interpretations of the obtained data and comes to the conclusion that stable identification with social and structural communities is not a compensation of social deprivation, but a resource for social optimism.*

Согласно данным массовых опросов в России и Польше<sup>1</sup> 1998 и 2002 годов, россияне в среднем демонстрировали устойчивую идентификацию с большим количеством социальных общностей, чем поляки. Идентификация измерялась с помощью вопроса о том, *как часто* респондент ощущает близость с перечисленными в списке категориями людей, о ком он может сказать: “Это — мы”. Вопрос содержал целый веер ключевых слов — *легкость нахождения общего языка, понимание, ощущение близости*. Тем самым выявлялась разметка, которую респонденты были готовы использовать при описании *своего, нечуждого, понятного, не имеющего непроницаемых границ* социального пространства. Такая широкая формулировка нацелена на определение эмоциональной, ценностной значимости групп и принципиальной возможности найти в них поддержку, защиту или условия для самореализации [см.: 1; 2; 3, с. 116].

При ответе на этот вопрос респондентам предлагались на выбор четыре варианта: часто, иногда, никогда и затрудняюсь ответить. Вариант “часто”

---

<sup>1</sup> Дизайн исследования разрабатывался под руководством В.Ядова. Подр. см.: [1].

мы будем трактовать как показатель устойчивой [см.: 4, с. 52], а вариант “иногда” — ситуативной [5, с. 13–14] идентификации. Альтернативная трактовка, согласно которой два первых ответа указывают на силу и слабость идентификации, представляется менее точной, так как частота явления скорее связана с его устойчивостью, чем с силой или интенсивностью [6]. “Иногда ощущаемая” идентичность (как осознаваемое диспозиционное образование) может устойчиво актуализироваться всякий раз, когда индивид попадает в специфическую ситуацию. Относительно редкое (“иногда”) попадание в ситуацию, запускающую механизм отождествления, не исключает интенсивной — сильной — идентификации. Точно так же “часто ощущаемая” идентичность может на поверку оказаться слабой. Например, идентичность высокого уровня (согласно логике диспозиционной концепции саморегуляции социального поведения В.Ядова), связанная с любовью к Родине, в повседневной жизни может не проявляться ни в поведении, ни вербально. Однако когда Родина призывает (мобилизует идентичность гражданина-воина), человек жертвует ценностями и потребностями, связанными с иными ролями, — даже жизнью. Такая ситуация описывается в художественных произведениях, где, как казалось, ничемный эгоист “вдруг” совершает нечто, требующее интенсивной мобилизации и альтруизма.

Обратным примером может служить получившее недавно распространение явление флэш-моба, смысл которого в том, что ничтожная, с точки зрения высших, широко разделяемых ценностей, моментально возникающая групповая идентичность приводит к интенсивной, хотя и кратковременной (иногда конспиративной) групповой солидарности и солидарному действию [7; 8]. Кажущаяся стороннему наблюдателю ничтожность повода для единения еще не говорит о несерьезности и легковесности солидарного действия; в нем участвуют не только парии, которым нечем заняться, но и солидные, занятые люди, идущие на определенные риски, а может и потери (например, оставляя свой офис в рабочее время). Как подчеркивалось уже 15–20 лет назад, в сходном поведении проблематизируются культурные, символические аспекты идентичности, связанные не со свободой иметь, а со свободой быть [9, с. 790; 10, с. 177–178]. При этом соотношение индивидуального и коллективного в идентификационном проекте столь радикально переформатируется, что привязки акторов к социально-структурной разметке мало помогают в объяснении совершаемых солидарных действий. При этом меняется и качество солидарности.

Несмотря на приведенные аргументы, нужно признать, что предлагаемое различие устойчивой и ситуативной идентичности делается с позиции “наивного интерпретатора”<sup>1</sup>.

***Мы-самоопределения:  
разница в характере, но сходство в приоритетах***

В общем порядке социально-структурных и социально-профессиональных предпочтений (табл. 1) заметно, что россияне практически по всем позициям активнее демонстрировали устойчивую идентификацию (вариант

---

<sup>1</sup> О субъективном характере шкалы с делениями “часто” и “иногда” и о трудностях ее интерпретации см., напр.: [11].

“часто”), тогда как поляки чаще выбирали ситуативную идентификацию (вариант “иногда”). Исключение составила только категория *постоянно нуждающихся*: в обоих обществах готовность понять бедного, включить его в свой мир распространена примерно одинаково.

Таблица 1

**Пространство социально-структурных Мы-самоопределений  
в России и Польше**

Ощущали об- щность с:	Идентификация, %						Ранги устойчи- вой иденти- фикации*	
	Устойчивая ("часто")		Ситуативная ("иногда")		Негативная ("никогда")			
	Россия	Польша	Россия	Польша	Россия	Польша	Россия	Польша
людьми того же достатка	80	54	16	36	1	2	4	5
людьми той же профессии	64	41	23	36	6	12	8	10
коллегами по работе	61	42	21	30	8	12	10	9
постоянно нуж- дающимися	41	36	38	45	13	8	15	14
наемными ра- ботниками	38	20	29	41	16	21	17	20
бизнесменами	30	9	36	30	23	42	24	22

\* Ранги приведены на основе списка предлагавшихся в опросах 24 самоопределений.

Поляки оказались более избирательны в очерчивании своего социального пространства: в российской выборке на одного респондента приходится 0,7 негативных выборов (“никогда”), в польской — 1 выбор. Это можно понимать так, что в Польше пространство занятости и достатка, взятое по предложенным в опросе измерениям, имеет более четкие межгрупповые (межкатегориальные) границы. Минимальное число позитивных выборов и максимальное — негативных получило бизнес-сообщество; для большинства россиян и поляков оно так и не стало “своим” за годы реформ. В целом россияне показали большую открытость и, соответственно, меньшую избирательность в устойчивой идентификации со сферой труда и достатка, что может служить индикатором ее большей субъективной значимости.

При этом ранжирование устойчивых идентификаций (правые 2 столбца таблицы 1) показало определенное сходство между двумя странами. Таким образом, идентификационные *приоритеты* у россиян и поляков примерно одинаковые. Различия наблюдались в *характере* идентификации — в частоте устойчивого и ситуативного отождествления. Как можно понимать эти сходства и различия?

**Социальная идентификация и качество социальной структуры:  
две интерпретации**

С функционалистской точки зрения, “всякое общество порождает те наборы идентификаций, которые функциональны для его развития и выживания

ния как системы. Идентичности детерминируются социальными условиями конкретного общества, и индивиды их используют в качестве оснований для межгрупповых сравнений и внутригрупповой лояльности” [12, с. 7]. Более частый выбор россиянами устойчивых идентификаций Т.Шавел объяснял тем, что “в России социальная структура более жесткая (структурные барьеры гораздо труднее поддаются разрушению) и разные измерения социальной позиции в России гораздо сильнее связаны между собой, чем в Польше” [13, с. 40]. По логике этого объяснения, причина различий в распространенности устойчивых и ситуативных идентификаций коренится в том, что российское общество менее открыто, чем польское.

Выходит, что в России либо ты “и швец, и жнец, и на дуде игрец”, либо ты в социальном смысле — никто или почти никто. Обратная сторона такого положения — синкретичность, неспециализированность, непроявленность специфических особенностей. Это вполне соответствует выводам некоторых российских социологов о невнятности социальной стратификации российского общества [14, с. 111–128; 15, с. 157–158], о слабой определенности институциональной среды<sup>1</sup> [17, с. 153–154], которая немедленно восполняется неформальными практиками<sup>2</sup>. В русле этих трактовок трудно давать позитивные оценки итогам трансформации социальной структуры российского общества.

На фоне россиян идентификационные выборы поляков выглядят более гибкими и избирательными. Негативная избирательность проявляется в более уверенном отрицании общности с одними группами, а гибкость и позитивная избирательность — в более частом предпочтении ситуативной идентификации. Гибкость и открытость польского общества подчеркивается некоторыми польскими авторами. А.Рихард и Э.Внук-Липиньский пишут: “Система стала плюралистичной. Разные институты и организации (добавим: и социальные общности. — *О.О.*) вызывают у граждан разные ожидания. Они контролируют разные сферы их жизни и в некотором смысле имеют кусочки “власти” над нашей жизнью, но это полностью отличается от того, что было при коммунистах” [18, с. 69].

Если поляки свои жизненные перспективы не связывают с пространством социально-профессиональной разметки и стратификационного сравнения, то можно ли говорить о том, что в Польше наступил “конец производства” [19, с. 49–87] или “конец социальной структуры” [20]? В обоих случаях речь идет о снижении значимости сферы труда (и ценностей выживания) и ориентированности на постматериалистические ценности (ценности самоактуализации). Достаточность ситуативной идентификации с общностями труда и дохода может свидетельствовать о большей актуальности поиска стилового самовыражения.

Правда, знаменитое исследование Р.Инглхарта показало, что во второй половине 1990-х годов Польша вместе с другими странами Восточной Европы переживала “материализацию” сознания. Если развитые страны двигались от ценностей выживания к ценностям самореализации, то в Польше

---

<sup>1</sup> Развитие этого тезиса на примере институтов рынка труда см.: [16].

<sup>2</sup> Об институционализации неформальной экономики при откладывании институциональных решений см.: [17].

наблюдалась прямо противоположная тенденция<sup>1</sup>. Как известно, опросных данных, пригодных для прямого сравнения России<sup>2</sup> и Польши, к сожалению, нет, однако то же исследование обнаружило, что значимость ценностей самовыражения в странах с православной культурой была (еще) ниже, чем в странах католицизма (к каковым относится Польша) [21, с. 186].

Учитывая это ценностное измерение, объяснение Т.Шавела можно даже усилить: связать структурную жесткость с неудовлетворенностью уровнем обладания материалистическими ценностями (стоимостями). Тогда большая распространенность устойчивой идентификации будет выступать индикатором социальной напряженности<sup>3</sup>. Постоянная готовность определенно формулировать свою социальную идентичность может также свидетельствовать о неудовлетворенности наличным групповым статусом и/или о его неустойчивости. Поэтому в устойчивой идентификации россиян с множеством групп может угадываться более высокий уровень депривации или, как минимум, неуверенности в том, что достигнутый социальный статус гарантирует надежные жизненные перспективы. Соответственно, малочисленность групп “устойчиво своих” может говорить о социальной закрытости, связанной со стремлением, отгородившись от мира “посторонних”, сохранить удовлетворяющий завоеванный статус.

Таким образом, можно сформулировать гипотезу: *чем с большим количеством общностей идентифицируют себя люди, тем сильнее они ощущают на себе жесткость структурных ограничений*. Чтобы проверить это предположение, мы сгруппировали респондентов по количеству устойчивых идентификаций. Поскольку мы анализируем 6 социально-структурных общностей (см. табл. 1), у нас получилось 7 групп респондентов. В группе 1 оказались респонденты, которые ни с кем устойчиво не идентифицировали себя (0 выборов “часто”), соответственно в группу 7 попали респонденты с максимальным числом устойчивых идентификаций — 6.

На рис. 1 представлены распределения российских и польских респондентов по количеству выбранных устойчивых социально-структурных идентичностей. Свыше 60% поляков были готовы включить в “свой мир” представителей не более 2 социальных групп, в то время как более 60% россиян устойчиво идентифицировались с 3 и более группами. Польский график скошен вправо и вниз, тогда как российский скорее напоминает колокол нормального распределения, со смещенной вершиной вправо и показывает большую открытость социальным общностям, или, по логике Т.Шавела, большую уязвимость для социоструктурных влияний и ограничений.

Подробный анализ польских данных показал, что различные группы респондентов, выделенные по возрасту, полу, уровню благосостояния, интересу к политике, отношению к религии и др., демонстрировали примерно одинаковую автономность от социально-структурных групп. Распределения идентификационных выборов для всех этих групп имеют одинаковую форму скоса (см. приложение, рис. П1–П4).

<sup>1</sup> Развернуто об этом см.: [21, с. 185–209].

<sup>2</sup> В России массовый опрос не проводился.

<sup>3</sup> По аналогии с актуализацией этнической идентичности в ситуации межэтнической напряженности, см.: [22].

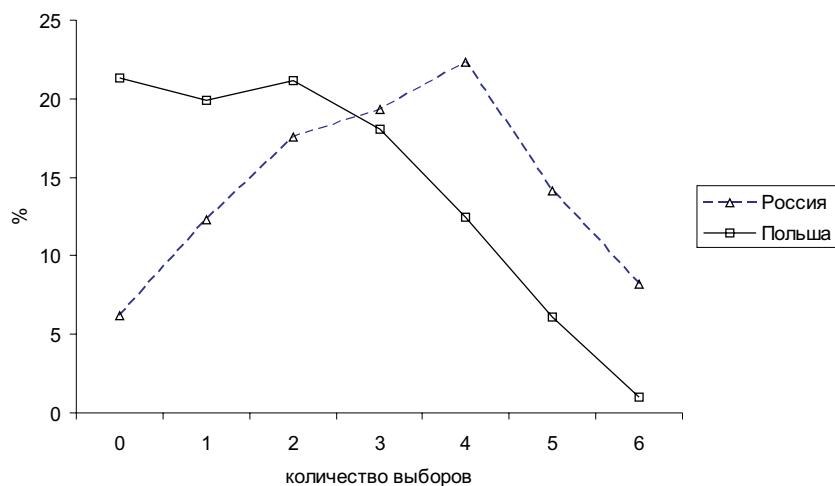


Рис. 1. Устойчивые социально-структурные идентификации в России и Польше.

Однако у некоторых категорий польских респондентов графики больше напоминали российский колокол нормального распределения, чем скос. В частности, люди с высшим образованием чаще остальных идентифицировали себя с большим количеством социально-структурных групп. То же самое характерно для занятых (по сравнению с незанятыми), самоопределившихся как рабочие и крестьяне (по сравнению с интеллигентами), назвавших себя обеспеченными (по сравнению с бедными), выигравших от реформ (по сравнению с проигравшими и сохранившими свои позиции в обществе) (приложение, рис. П5–П9). Наконец, к “российскому колоколу” тяготеет распределение у людей с будущим, тогда как у людей без будущего график представляет собой типичный “польский откос” (рис. 2).

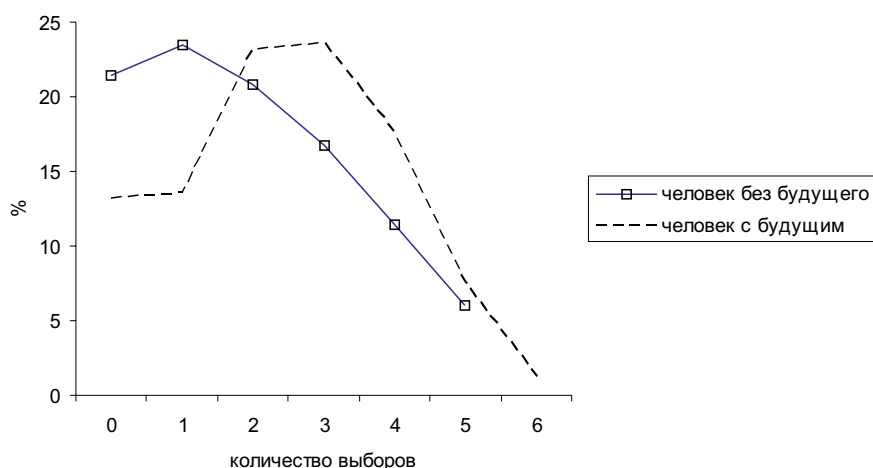


Рис. 2. Распределение респондентов “человек без будущего” и “человек с будущим” по количеству устойчивых социально-структурных идентичностей (Польша)

Что может объединять имеющих работу, обеспеченных, выигравших от реформ граждан, которые думают, что у них есть будущее? Если высокий образовательный уровень, занятость и обеспеченность являются лишь косвенным индикатором, то уверенность в собственном будущем напрямую связана с социальным самочувствием и адаптационными ресурсами личности [23]. Поэтому предположение о том, что указанные группы объединяет социальный оптимизм, основанный на обладании важными социальными ресурсами, не выглядит слишком смелым. Становится ясно: устойчивая идентификация с большим количеством групп, выделяемых по социально-структурным признакам, на самом деле означает социальный оптимизм, открытость, готовность к сотрудничеству и достижениям за счет наращивания социального капитала в сфере трудовых отношений, сулящих материальное благополучие. Как минимум это означает, что в Польше социальный оптимизм устойчиво связывается с готовностью “осваивать” пространство сферы труда — идентифицироваться с социально-профессиональными, социально-классовыми и стратификационными группами. Кроме того, это может означать, что среди поляков оптимистов гораздо меньше, чем среди россиян. Это полностью соответствует трактовке К.Косэла, который считает, что *Мы*-самоопределения показывают связеобразующий, или связесозидательный потенциал [24].

Теперь у нас появилась возможность объяснить парадоксальное попадание польских рабочих и крестьян (по сходству графиков идентификационных выборов, см. приложение, рис. П7) в компанию выигравших от реформ, образованных и обеспеченных. Парадокс заключается в том, что современное положение рабочих и крестьян в Польше описывается как плачевное. В частности, сопоставление роли рабочего класса, которую он сыграл в демократических трансформациях польского общества, с его настоящим положением порождает распространенное мнение, что из всех классов он больше всех проиграл от реформ<sup>1</sup> [25, с. 163]. Польские крестьяне (фермеры вместе с сельхозрабочими) к концу 1990-х имели самые низкие доходы среди занятого населения<sup>2</sup> [26, с. 45], а сельское население в целом стало “основной базой для формирования маргинализованного андеркласса” [25, с. 164]. Однако, по всей видимости, в данном случае важен не уровень абсолютной депривации, а что-то другое.

Этот парадокс можно объяснить тем, что самоидентификация рабочего и крестьянина (приложение, рис. П7) сама по себе служила ресурсом для деятельного социального оптимизма, которого не обнаружили ни представители интеллигенции, ни те, кто назвал себя пенсионером, безработным и учащимся (приложение, рис. П4).

Что касается самоидентификации интеллигента, то, возможно, Н.Коровицына (вслед за М.Жюлковским [27]) точно отразила умонастроения этой категории польского общества: “Распад традиционной интеллигенции

---

<sup>1</sup> Правда, Н.Коровицына полагает, что главной движущей силой польской “бархатной” революции ноября 1989 г. была исповедовавшая нематериалистические ценности интеллигенция, которая и стала главной ее жертвой [21, с. 208–209].

<sup>2</sup> Автор, давая обзор социоструктурных изменений в Польше 1990-х годов, пишет, что “единственный положительный момент для польских крестьян — уменьшение их доли в структуре занятости” [26, с. 46].

можно квалифицировать как центральный момент экспансии “материализма” (материалистических ценностей в противоположность духовным. — *О.О.*) в восточноевропейском пространстве. Этот процесс получил широкое распространение среди ориентированных на стратегии “экономического выживания” менее образованных, низовых слоев общества” [21, с. 29].

Не противоречит ли эта характеристика более широкому распространению множественной устойчивой идентификации среди поляков с высшим образованием (см. приложение, рис. П5)? Нет, не противоречит. Н.Коровицына со ссылкой на М.Жюлковского утверждает, что “значительная часть польской интеллигенции впервые за свою полуторазековую историю... начала ориентироваться прежде всего на индивидуальный финансовый успех. Она отказалась от традиционно выполняемой роли носителя национальной культуры, ее образа и духовного лидера нации... интеллигенция утрачивала не только свои позиции в обществе, но и... *чувство общности* (курс. мой. — *О.О.*), возникшее в процессе выполнения этой функции. Меняя свой статус, она была вынуждена коренным образом меняться сама... бывшая традиционная интеллигенция — точнее наиболее ее “гибкая” часть — интенсивно трансформировалась в разновидность типичного для западного общества класса людей знания (*knowledge class*), то есть профессиональную группу высокооплачиваемых экспертов и специалистов” [21, с. 210–211; см. также: 28]. Не все обладатели высшего образования назвали себя интеллигентами, что и предопределило разницу в уровне социального оптимизма.

Таким образом, получается, что польские интеллигенты в 2002 году продемонстрировали меньшую удовлетворенность своими жизненными перспективами по сравнению с рабочими и крестьянами.

В этой логике устойчивая идентификация может соотноситься с одним из аспектов социального капитала — с социальной причастностью [29, с. 34]. Превратившись в “людей знания”, польские интеллигенты могли утратить часть социального капитала, а именно социальную причастность, обретая взамен другие формы капитала, например относительное материальное благополучие. Гибкость и открытость польского общества, о которой писали А.Рихард и Э.Внук-Липиньский, специализацию институтов и организаций, которые “вызывают у граждан разные ожидания”, поскольку “контролируют разные сферы их жизни и в некотором смысле имеют кусочки “власти” над нашей жизнью” [18, с. 69], можно трактовать как свойственную переходному периоду (пусть временную) утрату разделяемых обществом ценностей. Наличие этих ценностей Ф.Фукуяма прямо отождествляет с социальным капиталом, замечая, что “моральные ценности и общественные правила — не просто деспотические ограничения выбора, налагаемые на индивида, а скорее необходимые условия совместной деятельности любого типа” [29, с. 27].

Разумеется, не все общности имеют сопоставимый потенциал социальной причастности и оптимизма. При взгляде на список *Мы-определений* (табл. 1) мог возникнуть вопрос, можно ли считать ощущение общности с “постоянно нуждающимися” показателем связеобразующего потенциала. Однако с точки зрения проверяемой гипотезы ощущение общности с “постоянно нуждающимися” — не более чем одно из свойств, показывающее, что респондент в социальном смысле скорее жив, чем мертв — хотя бы по этому параметру открыт обществу, а не закрыт. Вне конкретного контекста



отсутствие материальных форм капитала ничего нам не говорит о наличии или отсутствии социального капитала<sup>1</sup>. (Кроме того, исключение ответов об общности с “постоянно нуждающимися” не вносит принципиальных изменений в общую картину.)

Теперь посмотрим, есть ли связь между множественностью устойчивой идентификации и обладанием социально значимыми ресурсами в России. Как и в Польше, в России большую открытость обнаружили обладатели высшего образования, занятые, материально обеспеченные и уверенные в своем будущем (приложение, рис. P5, P6, P8, P10).

Примечательно, что на открытость в сфере трудовых отношений и стратификационного самоопределения никак не влиял интерес к политике (приложение, рис. ПЗ, P3), что может говорить об автономности сфер экономических и политических интересов. Ни в России, ни в Польше пол не был в этом отношении дифференцирующим признаком: в обеих странах и женщины, и мужчины продемонстрировали одинаковую открытость социальному пространству (приложение, рис. П2, P2), несмотря на то, что доказательства о существовании гендерной иерархии в сфере занятости и дохода в последние годы было добыто предостаточно [30].

Таблица 2

### Открытость/закрытость социальному пространству в России и Польше

№	Основания категоризации	Россия		Польша	
		Относительная закрытость	Относительная открытость	Относительная закрытость	Относительная открытость
1	Возраст (лет)	55–65 лет и старше	25–44 года	*	*
2	Пол	*	*	*	*
3	Интерес к политике	*	*	*	*
4	Категории незанятых	пенсионеры	учащиеся	*	*
5	Образование	не высшее	высшее	не высшее	высшее
6	Занятость	незанятые	занятые	незанятые	занятые
7	Самоопределение в категориях “грехчленки”	крестьяне	интеллигенты, рабочие	интеллигенты	рабочие, крестьяне
8	Самоопределение по достатку	бедные	обеспеченные	бедные	обеспеченные
9	Выигрыш/потери от реформ	*	*	*	выигравшие
10	Оценка будущего	люди без будущего	люди с будущим	люди без будущего	люди с будущим

\* Отсутствие явных межгрупповых различий.

<sup>1</sup> Здесь уместно еще раз процитировать Ф.Фукуяму — его пересказ истории о бедном, плотно населенном районе Бостона — сообществе, которое, тем не менее, имело большой запас социального капитала, в силу чего в нем был низкий уровень преступности. Снос старых районов в 1950–1960 годы ради урбанистической модернизации, “не учитывавший фактора социального капитала, вложенного в старые районы”, привел к разрушению сообществ и, как следствие, резкому росту уровня преступности [29, с. 46–48].

И все же между Россией и Польшей обнаружилось два примечательных различия. Во-первых, в России важной формой социального капитала стал молодой возраст (приложение, рис. P1), что отразилось и в разнице между двумя категориями незанятых: пенсионеров и учащихся (приложение, рис. P4). Во-вторых, если в Польше, употребляя термины псевдоклассовой “трехчленки”, интеллигенты оказались на обочине стратификационного пространства, то в России самое бедное идентификационное пространство обнаружилось у крестьян. Общая картина сходств и различий между двумя странами представлена в таблице 2 (построенной на основе диаграмм, приводимых в приложении на рисунках P1–P10, П1–П9, а также на рисунке 2, приведенном выше).

Подведем итоги.

1. Преобладание в России устойчивых идентификаций означает не столько жесткость социальных структур, сколько большую открытость социальному пространству и готовность вступать во взаимодействие с более разнообразными социальными группами. Российское общество обладало в 2002 г. большим совокупным социальным капиталом, чем польское общество — общепризнанный лидер посткоммунистических трансформаций.

2. Даже наиболее высокоресурсные группы польского общества были более закрыты (обладали меньшим социальным капиталом), чем отнюдь не самые ресурсные группы россиян (ср. аналогичные российские и польские диаграммы).

3. Только в России “судьба ласкает молодых и рьяных”: наиболее активные среди занятого населения возрастные когорты (25–44 года, а также учащиеся) были более открыты обществу, чем старшие когорты, тогда как в Польше все возрасты были одинаково закрыты. В особой значимости аскриптивного фактора возраста в России можно видеть косвенный показатель того, что новые поколения не только приобрели новые ценности, но и стали, по-видимому, если не более приспособленными к новым правилам игры, то, по крайней мере, более лояльными к ним<sup>1</sup>. Если так, то среди польской молодежи либо не произошло радикального ценностного сдвига, либо он не стал фактором большей открытости социальному пространству молодого поколения.

Другое объяснение может связывать возрастные различия в адаптивности не столько с произошедшей “культурной революцией” индивидуалистического материализма, сколько с более последовательным внедрением неolibеральных норм в России, отличительную особенность которых критики видят в более жесткой эксплуатации биологического ресурса занятого населения [см. напр.: 31, с. 54]. Это согласуется с выводом аналогичного российско-польского опроса 1998 года о том, что польские реформы в большей степени учитывали адаптационные возможности граждан. В частности, польские пенсионеры (представители старших возрастных когорт) гораздо чаще (статистически значимо) демонстрировали адаптацию к своему поло-

---

<sup>1</sup> Это подтверждается большим доверием молодых россиян к власти, что регулярно фиксировалось различными опросными службами на протяжении реформ.

жению, чем российские пенсионеры [23, с. 618]. (В этом случае адаптивность и социальный оптимизм, по-видимому, будут независимыми переменными.)

4. В России различие проигравших и выигравших от реформ уже не работает; несмотря на то, что в апреле 2005 года 67% респондентов общероссийского опроса заявили, что перестройка еще не закончилась [32, с. 59], для размещающих себя в социально-профессиональном и стратификационном пространствах россиян эпоха калькулирования потерь и приобретений от реформ, по-видимому, завершилась.

Таким образом, российский “колокол” выглядит оптимистичнее польского “скоса”, свидетельствующего о депрессивности общественного настроения ввиду переживаемого разрыва социальных связей. Следовательно, российское общество с большим эффектом порождает “наборы идентичностей, которые функциональны для его развития и выживания как системы” [см.: 12, с. 7]. Полученные результаты вроде бы противоречат устойчивым представлениям о меньшей успешности российских трансформаций по сравнению с реформами в странах Восточной Европы. Разумеется, представления о процессах стратификации, описанные в терминах социальной идентификации, говорят скорее не о том, где находится общество на шкале объективных достижений, а о том, имеется ли у него внутренний потенциал для адаптации к переменам и развитию. Неприятность заключается в том, что для диагностики потенциала развития необходимо не только определение ценности, с которой мы хотим соотноситься (в веберовском смысле), но и достоверное представление об объективных общественных тенденциях.

Если верно, что в 2002 году Россия обладала бóльшим социальным капиталом, чем Польша, то что это значит? Какую роль этот капитал может сыграть в развитии общества? Если он остался почти не тронутым от эпохи, от которой мы стремимся отдалиться, тогда такой капитал является помехой для позитивного строительства новой России. Если Польша успешно растеряла социалистический капитал, то это повышает шансы на то, что шокковые переживания — очень конкретные жертвы, принесенные очень конкретными людьми, или, как сказал бы Ч.Миллс, конкретными мужчинами и женщинами, — имели хоть какой-то смысл, пусть даже он и напоминает сейчас больше о журавле в небе и пустой руке.

Ответить на эти вопросы нелегко не только при сравнении периферийных обществ транзита по столь эфемерным показателям, как идентификация. Ф.Фукуяма, критически разбирая доказательство тезиса о “съеживании” социального капитала в США, пишет, что одним из свидетельств упадка уровня доверия в обществе считается число судебных разбирательств на душу населения. По этому показателю США — впереди планеты всей<sup>1</sup>. Однако интерпретация зависит от отнесения к конкретной ценности: “В США имеется тенденция применять гражданский закон как замену государственному регулированию... рост количества исков... на самом деле может быть позитивным показателем социального капитала: вместо того чтобы

---

<sup>1</sup> Как и по количеству юристов, отношение к которым напоминает отношение к работникам советской торговли — их презирали, но конкурсы в институты торговли от этого не падали.

для решения спора апеллировать к иерархическому источнику власти, частные стороны добиваются того, чтобы выработать справедливое соглашение между собой, хотя бы и при помощи легионов высокооплачиваемых юристов” [29, с. 41–42].

Словом, *интерпретировать смысл полученных результатов можно в контексте того, как оцениваются итоги социально-структурных трансформаций в России и Польше.*

### Приложение

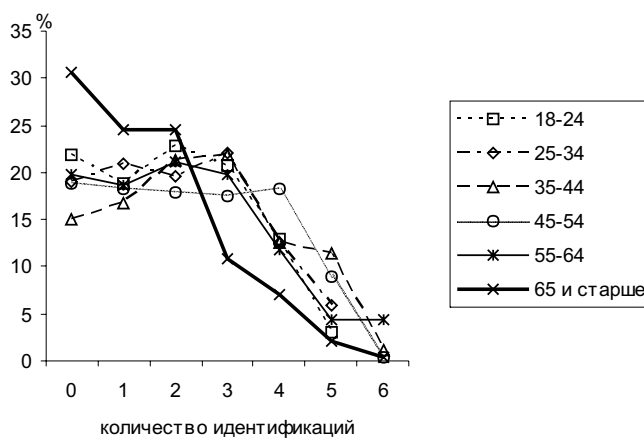


Рис. П1

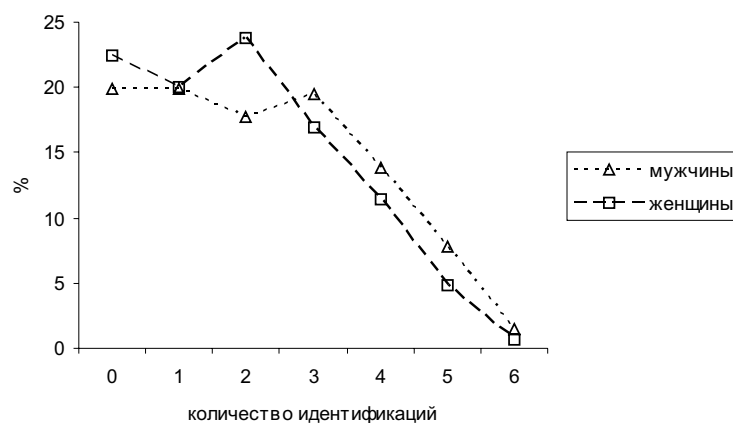


Рис. П2

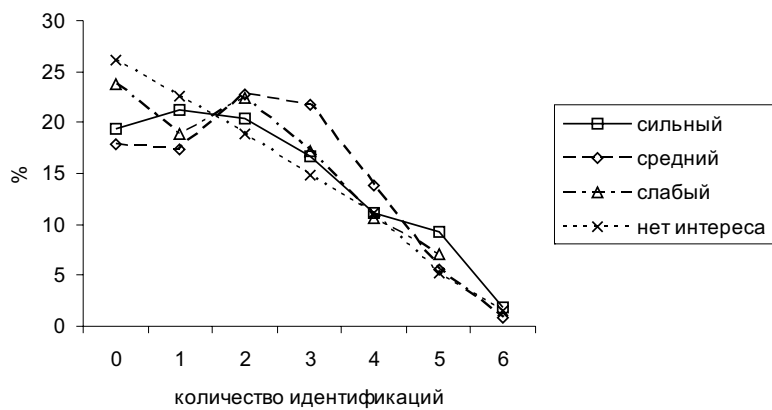


Рис. П3

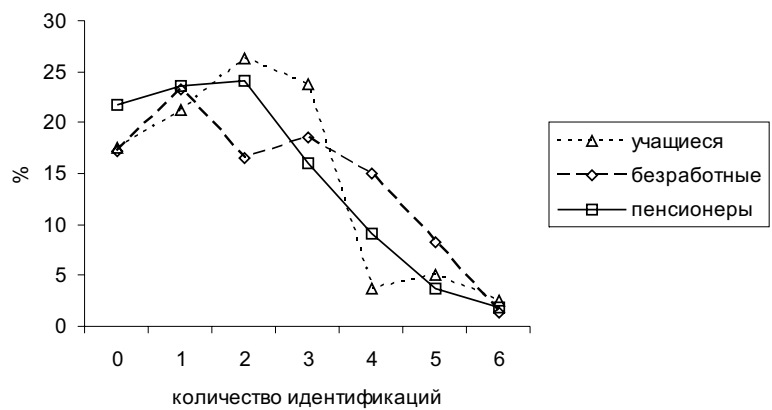


Рис. П4

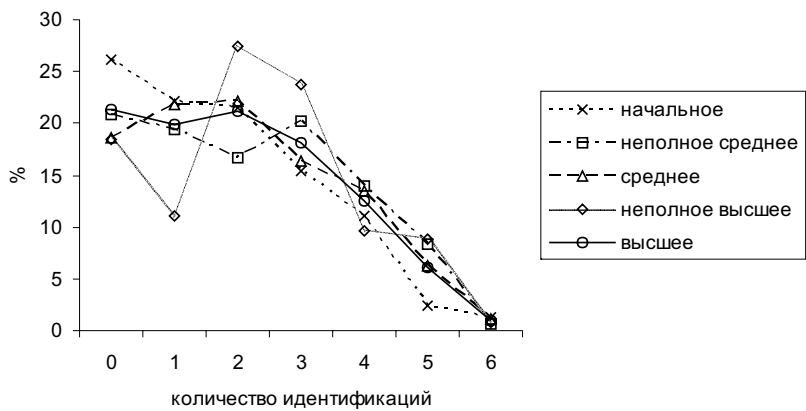


Рис. П5

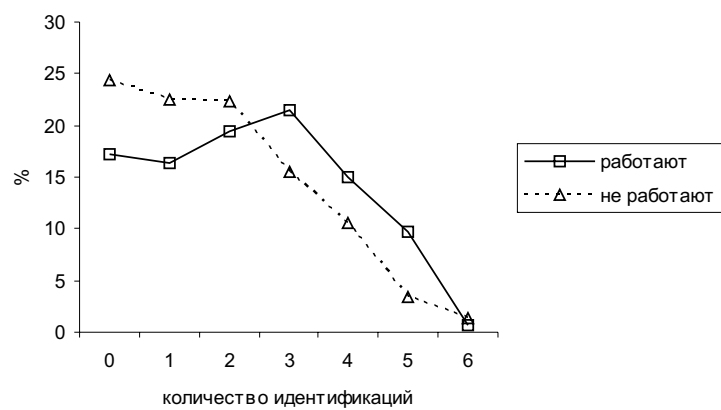


Рис. П6

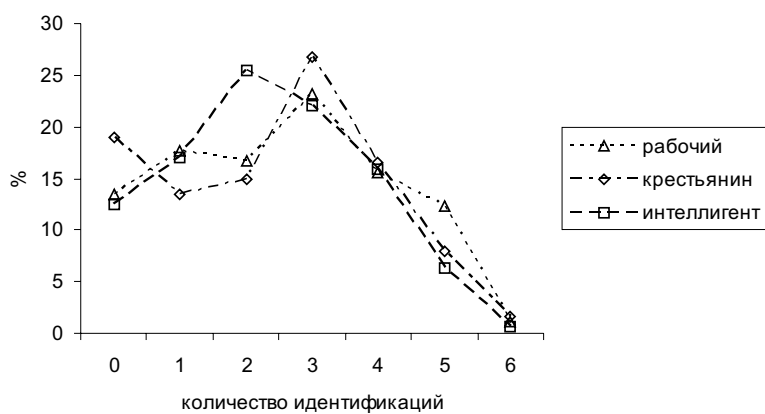


Рис. П7

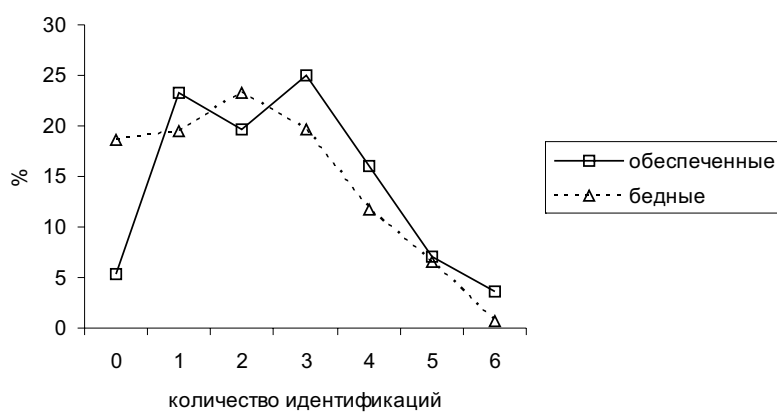


Рис. П8

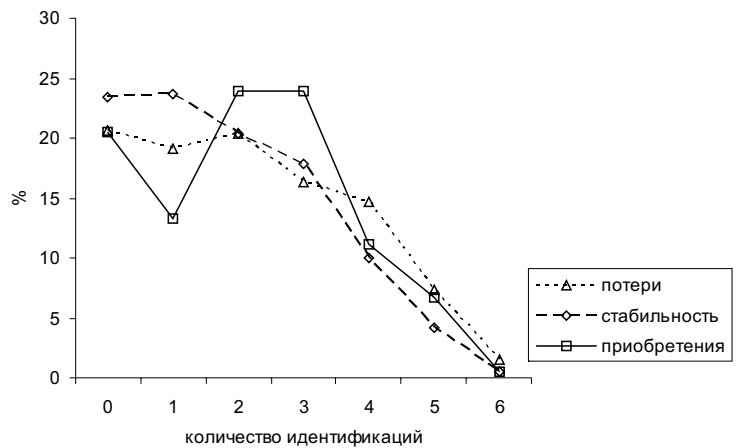


Рис. П9

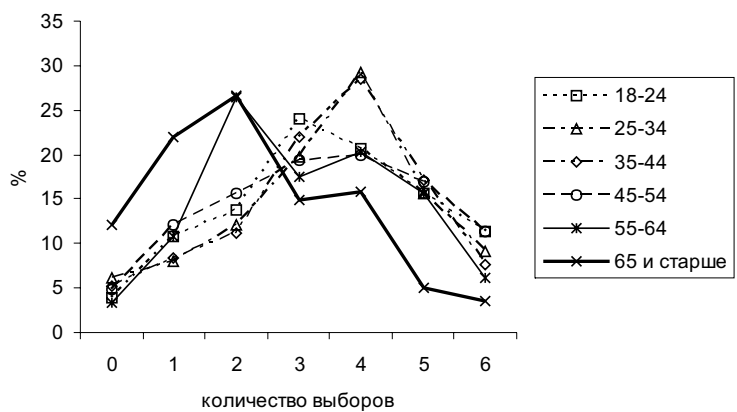


Рис. P1

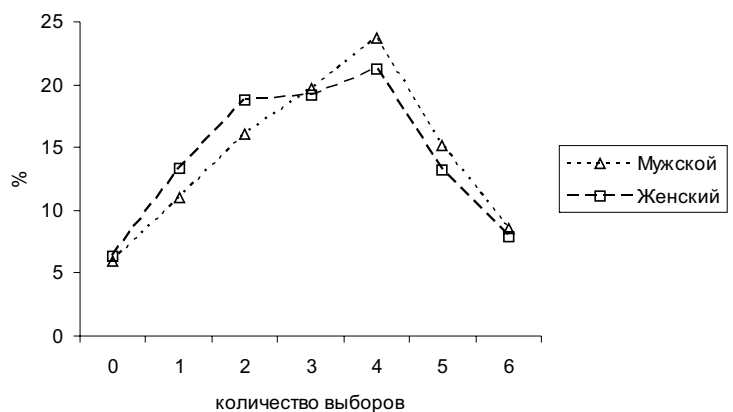


Рис. P2

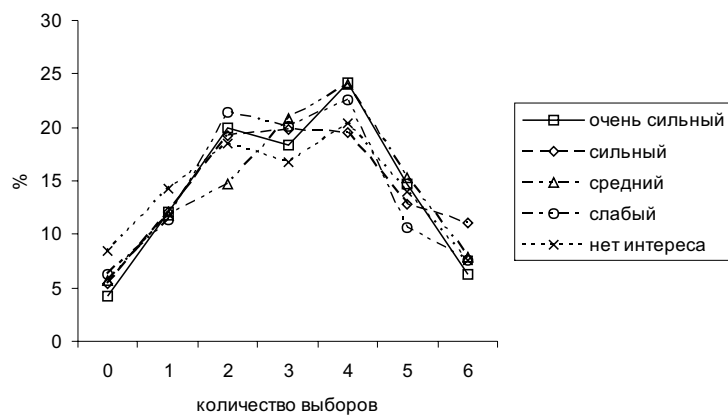


Рис. P3

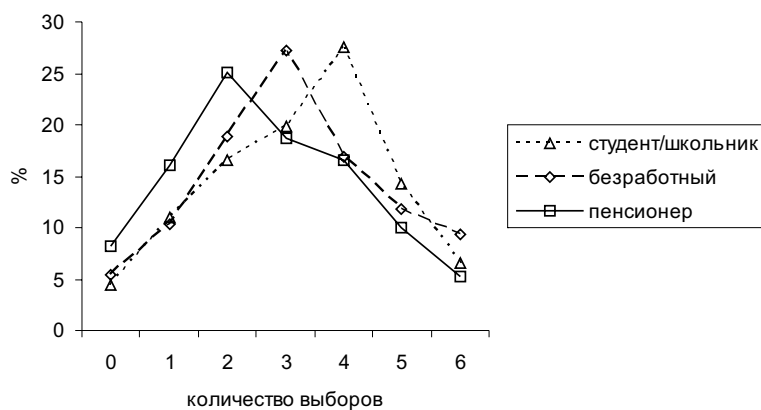


Рис. P4

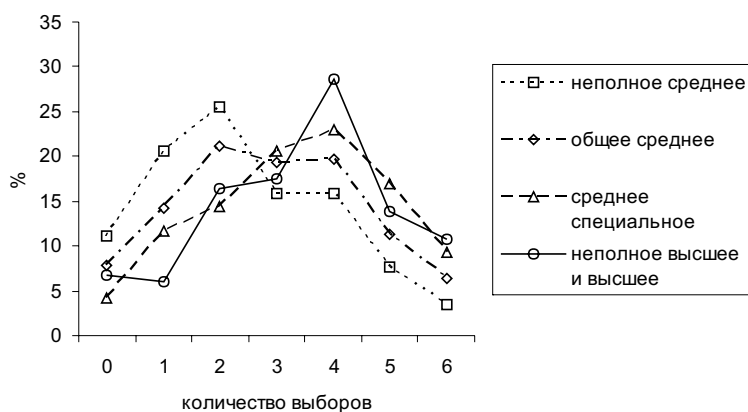


Рис. P5



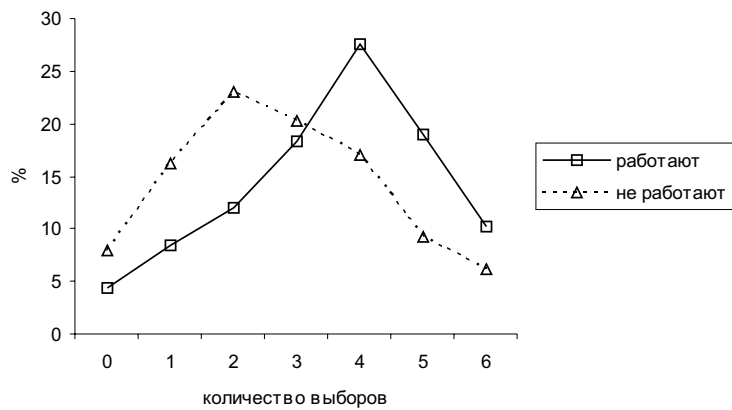


Рис. P6

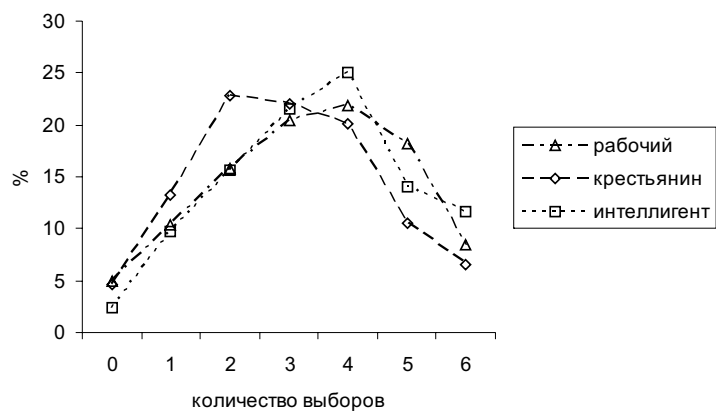


Рис. P7

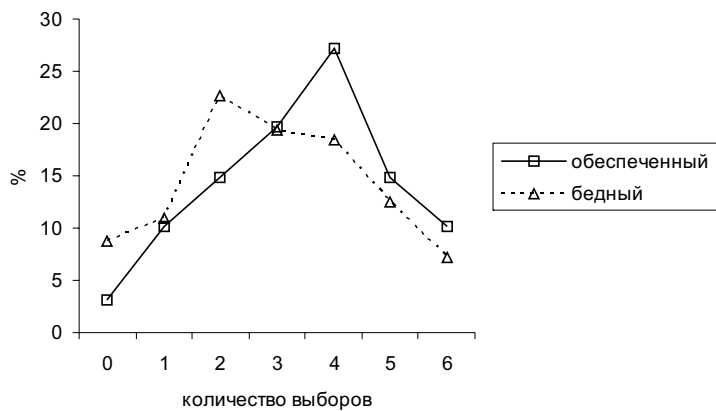


Рис. P8

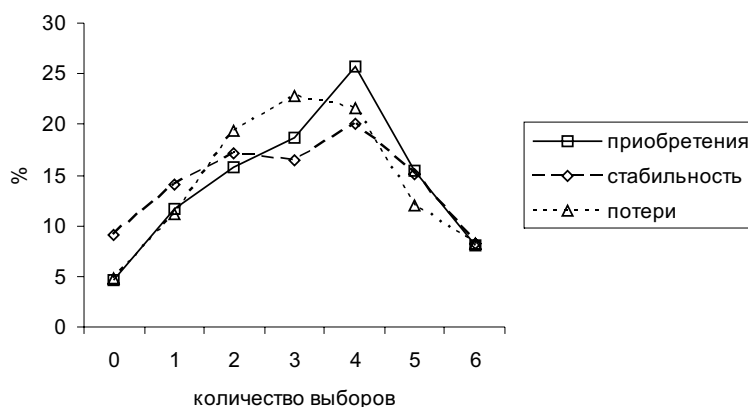


Рис. P9

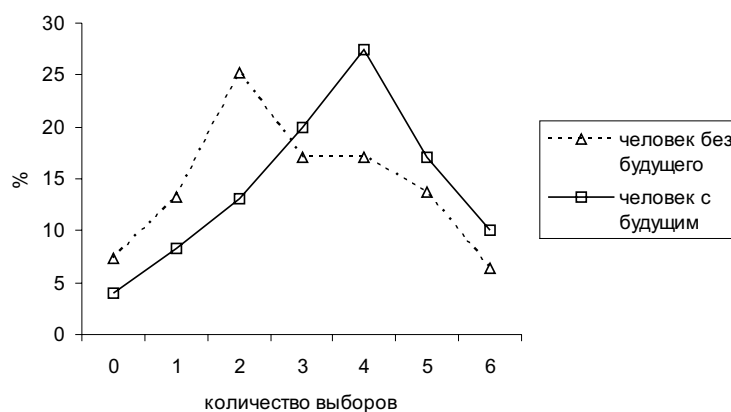


Рис. P10

### Литература

1. Данилова Е.Н. Через призму социальных идентификаций (Сравнительное исследование жителей России и Польши) // Россия реформирующаяся: Ежегодник — 2004 / Отв. ред. Л.М.Дробижева. — М., 2004. — С. 221–223.
2. Данилова Е.Н. Изменения социальных идентификаций россиян // Социологический журнал. — 2000. — № 3/4. — С. 76–77.
3. Наумова Н.Ф. Рецидивирующая модернизация в России: беда, вина или ресурс человечества? — М., 1999.
4. Дробижева Л.М. Российская, этническая и республиканская идентичность: конкуренция или совместимость // Центр и региональные идентичности в России / Под ред. В.Гельмана, Т.Хопфа. — СПб.; М., 2003.
5. Данилова Е.Н., Ядов В.А. Неустойчивая социальная идентичность становится нормой // Социальная идентичность: способы концептуализации и измерения. — Краснодар, 2004.

6. Hogg M.A., Terry D.J., White K.M. A Tale of Two Theories: A Critical Comparison of Identity Theory with Social Identity Theory // *Social Psychology Quarterly*. — Vol. 58. — № 4. — P. 255–269.
7. Pohl O. What: Mob Scene. Who: Strangers. Point: None // *New York Times*. — 2003. — № 525658 (Apr.). — P. A4.
8. Kornblum J. Silly convergences of strangers // *USA Today*. — 2003. — Aug. 18.
9. Melucci A. The Symbolic Challenge of Contemporary Movements: A Theoretical Approach // *Social Research*. — 1985. — Vol. 52.
10. Melucci A. *Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society*. — Philadelphia, 1989.
11. Шварц Н., Ойзерман Д. Как задавать вопросы о поведении в оценочных исследованиях // *Социологический журнал*. — 2004. — № 1/2. — С. 34–74.
12. *Social Identities in Transforming Societies: Russia and Poland: Unpublished Paper* / E.Danilova et al. — Warsaw; Moscow, 1999.
13. Szawiel T. Identities Related to the Occupation and Social Stratification // *Social Identities in Transforming Societies: Russia and Poland: Unpublished paper* / E.Danilova et al. — Warsaw; Moscow, 1999.
14. Шкаратан О.И. *Российский порядок: Вектор перемен*. — М., 2004.
15. Заславская Т.И. *Современное российское общество: социальный механизм трансформаций*. — М., 2004.
16. Капелюшников Р.И. *Российский рынок труда: Адаптация без реструктуризации*. — М., 2001.
17. Колодко Г.В. *Глобализация и перспективы развития постсоциалистических стран*. — Минск, 2002.
18. Рихард А., Внук-Липинский Э. Источники политической стабильности и нестабильности в Польше // *Социологические исследования*. — 2002. — № 6. — С. 65–69.
19. Бодрийяр Ж. *Символический обмен и смерть*. — М., 2000.
20. Ионин Л.Г. *Культура и социальная структура* // *Социологические исследования*. — 1996. — № 3. — С. 31–43.
21. Коровицына Н. *С Россией и без нее: Восточноевропейский путь развития*. — М., 2003.
22. Солдатова Г.У. *Психология межэтнической напряженности*. — М., 1998.
23. Дудченко О.Н., Мытиль А.В. *Две модели адаптации к социальным изменениям* // *Россия: Трансформирующееся общество* / Под ред. В.Ядова. — М., 2001. — С. 609–610.
24. Косэла К. *Сравнение распространенности, важности и связеобразующего потенциала идентификаций в России и Польше: Рукопись*.
25. *Poland: International Economic Report 2000/2001*. — Warsaw, 2001.
26. Доманьский Х. *Появление в Польше меритократии* // *Социологические исследования*. — 2002. — № 6. — С. 44–46.
27. Ziolkowski M. *With or Against the Tide? Changes in the Interest and Value Orientations of Polish Society in the Systemic Transformation* // *Values and Radical Social Change* / Ed. by E.Wnuk-Lipinski. — Warsaw, 1998.
28. Ziolkowski M. *Inteligencje Polska na Rynku Prace* // *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny*. — 2001. — № 1. — С. 34–69.
29. Фукуяма Ф. *Великий разрыв*. — М., 2004.
30. *Гендерное неравенство в современной России сквозь призму статистики* / Отв. ред. и сост. М.Е.Баскакова. — М., 2004.
31. См. напр.: Вихтерих К. *Женщины в условиях глобализации*. — М., 2005.
32. Климов И.А. *Другая жизнь эпохи перестройки* // *Человек. Сообщество. Управление*. — 2005. — № 2. — С. 59–61.